



К. И. ЧУКОВСКИЙ

Смерть, красота и любовь в творчестве И. А. Бунина

<фрагмент>

<...>

III

<...> ...два-три года назад появился новый Бунин, нечаянный, совершенно не похожий на прежнего.

Это было чудо, колдовство! Он двадцать лет проработал у нас на глазах, мы думали, что знаем его, мы привыкли к его голосу, манерам, — и вдруг все другое, все новое! Ничего подобного, кажется, не было в анналах российской словесности. Писатели созревали, росли, но переродиться на пятом десятке, после четверти века работы, переменить свою душу, свой стиль, — этого еще не бывало! Здесь я говорю исключительно о Бунине-прозаике, авторе «Антоновских яблок», «Нового года» и проч. До сих пор его проза было очень мила, поэтична, но бледновата, расплывчата. Этим полу-элегиям, полуновеллам, зыбким, забываемым, смутным, не хватало железа и камня. Им нужна была мужская рука. В их очаровательном, женственном, лирическом — слишком лирическом! — стиле была какая-то расслабленность, вялость. Много вкуса, мало темперамента. Недаром за все двадцать лет поэт только и мог написать, что два тома этих новелл, — и вдруг «Деревня», «Суходол», «Иоанн Рыдалец», с такими рассказами, как «Захар Воробьев», «Сверчок», «Хорошая жизнь», «Князь во князьях», «Вера», «Сказка», «Худая трава» и шедевром, венцом его творчества — изумительным рассказом «При дороге». Новый непредвиденный Бунин! И какой в этих новых творениях мужской, лаконический, четкий и твердый рисунок, какая энергичная крылатая фабула (которою он доселе был так беден) и, главное, какая психология! Вот это-то я и хочу подчер-

кнуть: Бунин неожиданно стал живописцем сложнейших и запутаннейших человеческих душ, и, после нескольких малоудачных попыток, достиг мастерства небывалого, небывалой пластики, рельефности, лепки. Всю жизнь писал о проталинах и почти не видел людей. То есть видел, но где-то вдали, на фоне пейзажа, среди стогов и снегов. Только и знал, что себя да природу, больше никого и ничего. Только и живописал, что *свои* умиления, радости, тревоги и скорби. Люди появлялись в его книгах, лишь как элементы его лирики, для выражения его эмоций и чувствований. И вот неожиданно встал перед ним Человек. И он не мимоходом, не вскользь стал всматриваться в него ближе и пристальнее и запечатлел свои новые студии в своих еще не оцененных рассказах; он внезапно оказался таким изощренным психологом, ведателем глубей и высей души, каких и в русской литературе немного.

Здесь он обрел себя. За последние два\три года им написано больше томов, чем за предыдущие двадцать!

Поразительная метаморфоза, неслыханная.

Но об этом в следующий раз!

IV

Снова через тысячу лет в Россию пришел Святогор. Он такой же голубоглазый гигант с мужицкой добродушной бородищей, — по-прежнему упоенно мечтает о небывалом, неслыханном подвиге:

— Сделать бы что-нибудь необыкновенное, чего еще не делал никто!

Душа у него щедрая, царственная, созданная для безмерных деяний, и вот когда наступила его часть, он, не дрогнув, могуче, спокойно совершил свой героический подвиг: выпил почти одним глотком целую четверть вина и, рухнув, как бык, умер от этого подвига!

О нем повествует И. А. Бунин в рассказе «Захар Воробьев».

Зря, по-дурацки, без пользы истратилась богатырская сила. Она была дана человеку для величавых и иных дел, но человек ее изгадил и пропил. К чему же этот изумительный дар, если в нем — позор и страдание?

Об этом неустанно вопрошает во всех своих новых творениях Бунин. Ему кажется, что мы — безумные моты, расточаем свое последнее, лучшее, что тратить, разорять, разоряться — единственное наше призвание.

Даже слушая соловьиное пение, бунинский герой говорит:

— Вот бы из ружья-то его!.. Так бы и кувыркнулся!

— Да ты про кого же?

— Да про соловья про этого.

Неприменно убить, уничтожить самое дорогое и сладостное! Если волнующе-прелестная женщина (в повести Бунина «Деревня») одарена красотой изумительной, то мы эту красоту — сапожищами! — втопчем в самую грязь, превратим в позор и страдание!

Страшно читать, как такую красавицу с обаятельно-изящной душой продают — для побоев — какому-то мерзейшему выродку, который, глядя на ее красоту, говорит:

— Чисто кафельная, сволочь!..

Быть бы ей лучше уродом, быть бы богатырю — хилым, а соловью — безголосым, они бы не погибли среди нас. Именно их красота, обаяние, сила оказались залогом их гибели.

И вот другое такое же чудо природы, величайшее благословение Неба, воплощенное милосердие Божие, — стовосьмилетний старик. Бог наградил его таким долголетием, о котором миллионы человеческих душ даже не смеют мечтать. Сколько при нем было великих людей, сколько войн, революций, открытий, событий, а он даже не знает об этом и за весь свой изумительный век только и видал, что коноплянники, только и думал, что о кормах для скота, — бессмысленно, зря расточил весь свой драгоценнейший дар!

Такой великолепный сосуд огромного, необъятного прошлого, но — совершенно пустой!

Бунину это даже не страшно. Он знает, что это закон. Кто-то околдовал ту Дурновку, в которой он издавна живет вместе со своими героями. Недаром же ее название — Дурновка. Все в ней ни к чему, все в ней зря: сила, красота, долголетие. Всякое благословение Божие превращается в проклятие дьявола.

— Чернозем — в полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода!

— Город на всю Россию славен хлебной торговлей. Ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе!

И так в каждой мелочи, всюду. Если я читаю у Бунина о какой-то поэтической могиле, под сенью поэтических берез, то я заранее знаю, что сейчас же там появятся свиньи и взроют могильный бугор, а телята обглодают березы («Будни»).

Если я читаю у Бунина, что кто-то на последние деньги закупил табуны лошадей, чтобы распродать их к весне с барышом, то я заранее знаю, что, съев у него всю муку и солому, лошади одна

за другой непременно околеют к весне («Суходол»). Если в его книге какой-нибудь дом или двор называется *Золотое дно*, — значит, там скудость, нищета непокрытая. Если это *Веселый двор*, — значит, там уныние и скорбь. Если *Лучезаровка*, — значит, гибель, гниение, тление.

Это закон, это фатум. В Дурновке иначе нельзя:

— Дотла разорены мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, — хозяина бы сюда, хозяина! — восклицает в своей повести Бунин. С хозяйственным огорчением глядит он во круг. Какой беспорядок, какая нескладица! Сколько пропадает добра! Никто ничего не умеет! Делают черт знает что!

— Пашут целую тысячу лет, да что я! Больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать. Хлеба ни единая баба не умеет спечь! Бунин — строгий хозяин, взыскательный. Когда персонажи его повестей делают какое-нибудь дело, он тяжелым, непрощающим взором следит за каждым движением и с досадой говорит поминутно:

— Не так! Не то! Не туда!

— Так бы, кажется, и вырвал у них их топоры и лопаты, — показал бы им, как нужно работать!

Несуразность, нехозяйственность мира, нелепость всех вещей и поступков колет его, как иголками, но, должно быть, ему сладка эта боль, если он растревляет ее. Его лирика все чаще питается образами нескладицы, бессмыслицы, бестолочи. На них зиждется его повесть «Деревня», ими насыщены «Суходол» и «Рыдалец». В них мироощущение поэта обрело свои заветные символы. Только никчемные дела и явления проникают к нему на страницы, остальным туда доступа нет. И если в его рассказе изображается огородное пугало, то лишь потому, что оно никого не пугает, поставлено зря, ни к чему:

— Отпугивать и некого и не от чего!

Если у него изображен караульщик, караулящий какую-то рощу, то лишь потому, что эта роща давно уже вырублена, и караулить там нечего!

Ко всяким несуразным вещам, ко всему, что невпопад и некстати, глаз Бунина особенно зорок. Зачем, например, у охотника *болотные* сапоги, если нигде нет болота? А тому мужику — для чего чемодан, если положить туда нечего? А этот: зачем обнимает слюнявую дряхлую нищую, которая ему ненавистна до слез, — если он самозабвенно влюблен в милую девушку Любку? А этот: убил человека из-за какой-то дурацкой козы.

То же и с нашими душами. Мы тратим их так же бессмысленно. Это страшнее всего. Здесь главная тема Бунина: как нехозяй-

ственно, зря расточается душа человеческая! В его книгах — большая коллекция таких растроченных, «раздребезженных» людей. Они — его любимые герои. Он, кажется, век бы следил, с каким безоглядным азартом они *раздребезжают* себя. Виртуозы саморазорения, гении самоистребления и гибели!

О, как тщательно наряжается Шаша — перед зеркалом — словно на свадьбу, словно перед любовным свиданием, — ведь его сегодня изобьют до беспамятства, истопчут каблуками в грязи!

Он к этому готовится, этого ждет, и потому-то у него на душе такой праздник: всю неделю он словно о том и заботился, чтобы стать калекой, уродом, с исковерканным носом, без глаз!

Он баловень, щеголь, деревенский Печорин, всю жизнь потратил на то, чтобы к концу своих дней гнусавить на паперти с нищими!

А помещик Аркадий Хрущов тоже лишь о том и хлопочет, чтобы пойти вслед за Шашей. — «Вся жизнь его, — пишет Бунин, — кажется, на то только и была направлена, чтобы не оставить неиспользованной ни единой возможности приготовить и себе на старость и нам на молодость нищенскую суму».

И какие богатые души! Разве Захар Воробьев не талант? И печник Егорка — не Гамлет? Разве Красов Кузьма — не мудрец? Разве воля и духовные силы Настасьи Семеновны не достойны Жанны д'Арк, Леди Макбет?

V

Но странно: чем пристальнее Бунин глядит на этот кавардак и хаос, где все божеское исковеркано дьяволом, — тем яснее у него на душе.

Его давняя книга «Деревня» была безнадежно черна. Следующая за ней — «Суходол» — уже лучилась какими-то проблесками. А последняя — об Иоанне Рыдальце, Псалме, Худой Траве — вся осиянная, благостная.

В Дурновке ничего не изменилось.

Дурновка — все та же Дурновка. Свины по-прежнему разрывают могилы, и Шаша по-прежнему жаждет, чтоб его искалечили до смерти.

По-прежнему все — гибель, бессмыслица, но у поэта какие-то новые чувства: поскольку ему позволяет его застенчиво-суровое сердце, он поддался умилению и нежности. Что-то в нем размячилось, оттаяло. Он уже — не придирчиво-строгий хозяин, а ра-

строганный, прощающий сын. Только теперь он постиг, как много в нем тайлось любви к этой раздребезженной Дурновке! Он скрывал свою любовь ото всех, даже от себя самого, но теперь, когда в его недавнем рассказе я прочитал о старухе, которая — опять-таки зря — идет к своему раздребезженному сыну, почему же я взволновался до дрожи, словно это не в книжке написано, не сочинено сочинителем, а и вправду по межам, по полям, по райски цветущей земле, шатаясь от лютого голода, смиренно идет моя мать, — ведь сумел же он навеять такое огромное, щемяще нежное чувство к полумертвой, ненужной старухе! — и кто же спросит, к чему вся бессмыслица ее напрасно растроченной жизни, если эта жизнь — святая, если, под навождением поэта, темная ненужная нищая стала мне матерински близка!

Пускай все бессмыслица, разорение, гибель, но

Прекрасна ты, душа людская. Небу
Бездонному, спокойному, ночному,
Мерцанию звезд подобна ты порой.

Вот то новое, что теперь открылось поэту: умиление пред душой человеческой. Его рассказы о Сверчке, о певце Родионе, о кроткой Анисье, о кротком Аверкии, который, умирая в хлеву, забытый и покинутый всеми, твердит благодарно и радостно:

— Хороша любовь на свете живет!

Все это такая «осанна» изумительным человеческим душам, какая даже в русской литературе еще никогда не звучала! Что такое все язвы Дурновки перед их смиренной святыней! Бунин пробует говорить о них холодно, но в каждом его слове растроганность.

— Бог благословил меня счастьем видеть многих из этих странников, — так говорит он теперь, и воистину, это — пасхальное счастье, величайшее благословение Божие: видеть таких кротких и светлых! И кто скажет, что они не нужны, что подвиг их жизни напрасен, что напрасно смиренный Сверчок, замерзая в степи, навалил на себя мертвого обледенелого сына и понес его по сугробам, по оврагам, в туман, без дороги, в темноте:

— Нет, стой, нет, шалишь, не отдам! — мертвого буду сто ночей таскать.

— Ибо если есть в мире смысл, то именно в этой бессмыслице!

И умирающий работник Аверкий, который сам себя называет ненужной худой травой и готов извиниться перед всеми за то, что он не умирает так долго, — как бы он был ошеломлен и испуган, если бы узнал, что во всем мире нет ничего драгоценнее, чем такая *худая трава!*

Бунин это ощутил, как никто. Словно он был слеп — и прозрел. Многие из его новейших созданий суть тайные гимны, молитвы перед умильной душой человеческой, житие блаженных и праведных. Если б эти люди живыми вознеслись на небеса, он, кажется, не удивился бы нисколько. Если бы слетели к ним ангелы и увенчали их золотыми венцами, это ему не показалось бы странным.

Прежде он ощущал лишь себя и прислушивался к своим ощущениям, а теперь, как Скрудж из Рождественской сказки, впервые увидел *других* и, увидев, просветлел; перестал роптать и брюзжать. У него обнаружился редкостный дар: чувствовать чужую душу как собственную. Его воображение, доселе дремавшее, дало ему ныне возможность преображаться в самых различных людей, с ними сострадать и сорадоваться. Он не показывает нам из окна своих Анисий, Захаров, Аверкиев, он каким-то магическим способом постепенно нас превращает в любого из них, заражает его мыслями и чувствами, пока мы окончательно не утратим своего естества и не станем, по воле поэта, то пастухом, то старухой. Я не знаю, каким литературным приемом достигает он этого чуда, но я знаю наверное, что, читая его «При дороге», я чувствовал себя девкой Парашкой, влюблялся в мещанина-конокрада, сидел по часам у порога, очарованный смутной мечтой, как погубит, как увезет меня вдаль лихой молодой мещанин! Каждым биением крови я чувствовал свою девичью сущность. А когда он пришел, погубил, я схватил своей маленькой загорелой рукой тяжелый железный замок и изо всей силы, неумело, неловко ударил его по виску, и побежал к воротам, а за мною — лошадь с гремучей телегой, а за лошадью — мещанин, весь в крови, но я бегу без дорог, по хлебам, ныряя в душную гущу колосьев, и вот уже три мужика вяжут мне руки вожжовкой, я выбиваюсь, кусаюсь, — как же мне, после таких ощущений, не жалеть и не любить эту убийцу, если она — это я, и ее раны — мои.

У раненых я не пытаю о ране,
Я сам становлюсь тогда раненым —

здесь высшее достижение искусства. Пусть человек гадок и мерзок, но, если ты жил его жизнью хоть миг, ты его оправдал и простил. Тебе противен раздребезженный Егор, изолгавшийся, изголодавшийся, пьяный, пляшущий на материнской могиле, но сделайся сам на минуту Егором, и ты почувствуешь, что его хулиганство бездонное — есть крестный, страдальческий путь.

Бунин не хлопчет о том, чтобы умилить и разжалобить.

Напротив, он, чем дальше, тем суровее. Вместо прежней тургеневской кроткой расслабленности, у него теперь толстовская хмурость. Слюнтяйство ему отвратительно. Он неприветлив и глядит исподлобья, с одинаковым равнодушием рассматривая и Таганка, и Сверчка, и Шмарка. Ни одного нежного слова не скажет он смиренной Анисье, которая в предсмертной тоске идет по полям умирать. Вся его забота как будто лишь в том, чтобы описать поподробнее, какой у нее платок, и какая походка, и какие она видит цветы, облака, огороды, и каких встречает людей, — но разве не чувствуется, что он перед ней на коленях?

— Великомученица! Светлая! Кроткая! Многострадального русского племени многострадальная мать!

Что он ту землю готов целовать, по которой прошли ее ноги, что весь ее тонкий и грустный, потемнелый от голода лик для него святыня, икона, — так бы и написать ее на кипарисной доске: с деревенскими полевыми цветами в руках, окруженную нежными горлинками, —

Прекрасна ты, душа людская. Небу
Бездонному, спокойному, ночному,
Мерцанью звезд подобна ты порой.

И пускай всюду — корчи, безумие, хаос, это не замутит его ясности, его светлой и благодарной настроенности, не мешает ему с тайной нежностью думать, что «в жизни все трогательно, все полно смысла, все значительно»...

— Хороша жизнь!.. Поздно понимать, как хороша она! — говорит теперь в его новом рассказе тот самый суходольский Хрущов, который еще накануне питал свое сердце проклятьями, —

Насмешкой позднею обманутого сына
Над промотавшимся отцом!

Хороша жизнь — не только среди руин и могил, но и в этой очумелой, осатанелой Дурновке; хороша не только своими берегами, звездами, «золотым престолом востока» и «золотым иконостасом заката», — но и своим оголтелым Егором, своим кровавоглазым юродом Иваном, который сидит на цепи и, яростно кидаясь на всякого, «воя, как шакал, вопя, как штраус», кричит:

— Дайте мне удовольствие! Дай же мне удовольствие!

За что и бывает избиваем нещадно:

— Вот тебе, Иван, и удовольствие!

Жизнь мудра и возвышенна, и этот нелепый кровавоглазый Иван — праведник, святитель, пророк. «И видится он ему, Греш-

ному, точно в церкви написанный», — говорит о нем с благоговением Бунин. И назвали его Иоанном Рыдальцем, и на могиле его начертали:

Юрод, неряшен миру он казался.

И молятся ему, как угоднику.

Осердечилось творчество Бунина. Прежде он умел лишь *любоваться*, а теперь научился *любить*. Только этого ему и не хватало, чтобы сделаться великим писателем; остального всего было вдоволь. И если эта любовь — не назойлива, а потаенная, скрытая, которой газетные наши Сент-Бевы так-таки не разглядели поныне, то ведь уличали же они и Чехова в черствости! Пока он не знал этой любви, все казалось ему бредом, бессмыслицей, дьяволовым водевилем, кошмаром, но теперь ему и не надо смысла: он уже не спрашивает, *почему* и *зачем*, он всюду чувствует ритм, гармонию, мудрость.

Он давно уже избрал своим девизом:

Веси, грады выхожу,
Русь обдумаю, выгляжу —

но только теперь эта Русь стала ему близка и понятна. Сколько в «Иоанне Рыдальце» народных суеверий и верований, волхвованных, причитаний, заговоров, юродов, знахарей, колдунов, ведунов, — и он смотрит на них любовно и преданно, сам поддается их чарам, сам верит в их чудесную силу: до того слился уже с народом, что сделал его веру — своею и его суеверие — своим, ощутил в них ту великую народную душу, которой прежде *любовался* лишь издали.

